



НУЖЕН МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

«На днях я рылся в своих бумагах, и мне попалось стихотворение, которое вместо желаемой славы принесло мне кучу пародий и прочих язвительных строк от друзей, в том числе и от тебя. Прочел собственное стихотворение и понял, какой я был осел. Осел и глупый очкарик (это, чтобы ты не добавил от себя), только я уточняю «был». Когда я приехал сюда, мне казалось, что само пребывание в сих краях, близость тайги — это не что иное, как геройство. Поэтому-то злополучные стихи мои начинались и кончались крикливым пафосом: «Я живу в Бурятии!» Честно говоря, я даже обиделся, когда ты с сарказмом написал, что вместо «Я живу в Бурятии», можно было написать «Я при сем присутствую».

Тогда, год назад, мне и в голову не приходило думать о тех, кто всегда жил и живет здесь. Мне просто казалось, что это их удел, судьба, что ли. А вот, мол, я — осел (бывший) — этим людям, этой дремучей тайге, этим трескучим морозам делаю одолжение, что согласился тут работать.

Старик, ты только не издевайся. Я ничего не забыл. Я прекрасно помню, как кричал на выпускном вечере: «Мы врачи! Мы особая каста. Мы не люди, мы боги. Мы познали самого человека, а это доступно только богу». Я никогда никому не признавался, что когда на четвертом курсе делал самостоятельную аппендэктомию, то всю ночь сидел у моего больного и думал ужасно напыщенно. Примерно так: «Жизнь моя оправдана. Я спас человека. И не надо мне сына растить, не надо деревце сажать. Я, Борька Белозеров, спас человека, а это не каждому дано». Сейчас смешно все это вспоминать. Но тогда это было так. Все меняется на глазах. Не знаю, верно ли, что жизнь кует нас, но что переделывает — это точно. И переделывает, как хочет. Мне всегда кажется, что сегодня я трезвее и умнее, чем вчера. Иногда на свое «я» надо смотреть со стороны.

А началось все это буквально в первые дни работы. Люди, о которых я думал, что это их удел — жить в такой дали от цивили-

лизации, что они во многом уступают нам, столичным, эти люди, а не какие-нибудь там морозы и тайга быстро поставили меня на место. Преподали урок, который я выучил потом на пять баллов. Первым делом уделали меня на танцах. Об этом я никому не писал. Здесь люди с одним ножом ходят на медведя, а я со своими хилыми костями решил с ними подражаться. И главное, сам был виноват. Кончилось тем, что целый месяц оперировал одноглазым пижоном. Второй никак не мог прорезаться. Благо, был без очков. Правда, потом мне сказали, что если бы был в очках, пострадала бы челюсть.

Когда ребята узнали, что я хирург, извинились. Обещали, что будут горой стоять за меня. Оказалось, что это отличные парни, имеющие достоинство и умеющие ценить справедливость. Есть прекрасные рассказчики, и юмор у них свой, не вычитанный. Они прекрасно понимают, что хорошо и что плохо. А нам всегда казалось, что это нужно только детям. На жизнь они смотрят гораздо шире и трезвее, чем мы в студенческие годы. Осознали не только, как не нужно жить, но и — как нужно. И знаешь, честно, они как-то щедрее нас.

Мы перед ними блекнем и меркнем со своими вечными спорами о литературе, о стихах. Ведь спорили мы об абстрактной живописи, иногда не понимая, что сам спор абстрактный. Не думая о том, что каждый раз говорим и спорим об одном и том же, мыслим теми же затасканными категориями.

Вот такие дела, старина. Если кто-нибудь сейчас будет кричать: «Я живу в Бурятии!», я первый заткну ему рот: «Ну и живи себе, чего орешь, олух. Чего орешь, потенциальный одноглазый пижон?» Конечно, можно ответить и так: «Ну и что, люди и на Камчатке живут»...

Словом, привыкаю к новому житью-бытью. Водку по-прежнему люблю, но, как и прежде, больше ста граммов не могу. Органон, будь он трижды проклят, не принимает. Иногда ужасно хочется в институт, но чтоб все были вместе. А то, бывает, посмотрю в зеркало на свою дебильную рожу и думаю: «Что же ты это так, морда нехристианская? До чего же вы, товарищ Белозеров, стали до противности серьезным. У вас же и бровей нет, фактура костлявая; как же вы утром на пятиминутке хмурите брови? До противности серьезный стал. Неужели это вы на спор пришли на лекцию по гигиене в одних трусиках?» Иногда такую тираду шурую один перед зеркалом вслух. Таежник.

Да, чуть не забыл. Недавно сюда приехала Люся Зотова. Ты ее должен знать, она училась на курс ниже. Пела в самодеятель-

ности. Помнишь — «Купите фиалки»? Работает здесь в участковой больнице.

Уезжать пока не собираюсь. Честно говоря, приезд Зотовой еще больше укрепил мои якорные цепи...»

Метаморфозы Белозерова мне были понятны. Все мы меняемся и меняемся, наверно, с каждым днем. В сущности, он, может быть, и не изменился. Он просто стал смотреть на жизнь иначе, с его точки зрения лучше, правильнее. Я знал его цельным, неизменным, с самого начала учебы и до конца. Цельным и неизменным потому, что институтские метаморфозы не замечаются: мы меняемся, но не замечаем этого, находясь слишком близко друг к другу.

Белозеров отличался от нас какой-то особой искренностью. Если он что-то сказал о ком-нибудь, значит, это не сплетни, не смакование, не вранье. Пожалуй, только в своей искренности он был ровен, постоянен. Во всем остальном Боря был страшно неуравновешенным, беспокойным, вечно мечущимся. Жил он у родителей. И когда приходил в студенческое общежитие, то за вечер успевал побывать почти во всех комнатах. То невесть откуда принесет дюжину анекдотов, своей свежестью удивлявших даже избалованных студентов, то начнет читать свои стихи, над которыми все мы смеялись, а он не обижался (по крайней мере, виду не показывал). Излюбленная тема его разговоров «Поэт и темперамент». Начинал он всегда так: «Невозможно понимать стихи, не зная жизни поэта, его характера. Все говорят, что Гомер великий. Может быть, я не спорю. Но мы же, архары, просто верим на слово. Кто сейчас его читает? А все потому, что у веского слепца нет биографии. Знайте, нет поэта-флегматика. Только холерик. Иначе он не поэт».

Нам было смешно. Но слушали всегда его с удовольствием, особенно когда он говорил о Пушкине и Маяковском. Мне казалось, что Боря как будто сам верил, что он настоящий поэт и придет время, когда его признают. Может, поэтому он и старался быть шумным, беспокойным. Хотя иногда благодаря своей непосредственности сам не скрывал, что все у него нарочито, что на самом деле он не такой. Да и как было Боре не писать стихов, когда сейчас все пишут. Память у него хорошая, знал много стихов, часто мыслил образами, вот и сам стал писать. Мне вообще кажется, что на свете ни один пишущий стихи не хочет мириться с тем, что он не поэт, а в лучшем случае версификатор.

Небольшого роста, с покатыми плечами и узковатым лицом, Боря носил огромные роговые очки, которые, казалось, закрывали пол-лица. Единственное, что его спасало, по его же мнению, это бесчисленное множество веснушек, густо насаженных на торчащих скулах. «Какой-то абстракционист развел в жидкой олифе тюбик «марс коричневый, темный» и брызнул жесткой кистью в лицо», — говорил он. Но больше всего Боря сетовал на курносый нос. «Бог — нехристь. Не наделил меня носом, так хоть глаза нормальные бы дал, а то ведь очки не держатся. Спадают».

К шестому курсу у нас образовалась спаянная компания, человек десять-двенадцать. И хоть у каждого был свой закадычный друг, признанный всеми и испытанный временем, все же мы вместе считались друзьями. Белозеров был одинаково близок всем. Девушек у него не водилось, а те, что нравились, ни для кого не составляли тайну. Ему можно было доверить все и быть уверенным, что третий не узнает.

Последние полгода только и было разговору о предстоящей разлуке. Каждый из нас был уверен, что разлука будет временной, что мы снова встретимся, иначе и быть не может.

Ярые реалисты, мы знали, что писать письма — занятие трудное, но дали слово, что на первых порах постараемся для уточнения адресов, а там будет видно. Так и случилось. Письма от друзей с каждым месяцем приходили все реже и реже. Потом то один район страны, то другой постепенно выпадали из поля зрения. Иногда после долгих месяцев молчания придет какая-нибудь помятая открытка (видимо, долго носилась в кармане) и, как правило, штампованные строки: «Как жизнь, старик (или дед, или там еще какой-нибудь аксакал), что нового? Я живу по-прежнему. Почему не пишешь? Черкни пару строк. В следующий раз напишу все подробно».

И все-таки время от времени мы как-то старались давать о себе знать. Из малюсеньких случайных открыток друзей выяснилось, что Боря уже два года никому не пишет. Не ответил он и на мое последнее письмо. А переписка, как известно, вещь хрупкая. Стоит раз не ответить, как она может прекратиться даже у хороших друзей.

«... Умоляю Вас, приезжайте к нам. Возьмите отпуск хоть дней на десять и приезжайте. Это очень нужно. Это очень нужно нам. Я пишу «нам», потому что Вы нужны и Борису и мне. Вот уже больше года я мучаюсь, и сейчас мне иногда кажется, что этому не будет конца. Боюсь, не выдержу. И Борис мучает-

ся, я знаю. Ему тоже очень тяжело. Мы любим друг друга. Только не думайте, пожалуйста, что баба разнюнилась. Мне стыдно об этом писать, тем более Вам, человеку незнакомому, хоть и учились в одном институте. В любом другом случае я бы ни за что никому не вылила душу, но сейчас у меня другого выхода нет. Я пишу другу Бориса. Камчатка отсюда далеко, хоть и мы невесть где находимся, но, сколько я ни передумала, ближе Вас никого у нас нет.

Вот уже два года, как Борис остался без ноги. Об этом он никому не пишет и запрещает писать другим. Я уверена, и Вы ничего не знаете, хотя он о Вас много говорит и считает Вас настоящим другом. Борис мне показывал несколько Ваших писем.

Как приехала сюда, дали участковую больницу. Работала без специализации. Приходилось лечить все. Все болезни, как земские врачи. Но толком я ничего не умела. Однажды поступила женщина с осложненными родами. Необходимо было кесарево сечение, но я в институте даже не ассистировала. Я только знала, как это делается теоретически, и еще знала, как профессор Смирнов рассказывал о молодой женщине, которая сама себе делала кесарево сечение. Так или иначе, я самостоятельно не решилась идти на операцию, хотя в ее необходимости была больше чем уверена. Надо было что-то предпринять, и я, как это всегда бывает, позвонила в районную больницу.

В тот день дежурил Борис. Я просила его срочно приехать, хотя и знала, что на улице пурга и мороз, и расстояние между нами около пятнадцати километров. Борис сразу согласился, а я стала готовить женщину к операции. Ждала его долго. Очень долго. Я никогда в жизни так не волновалась. Волноваться в институте нас не учили. Вы сами знаете, что там случись что-нибудь — рядом профессор или доцент. А здесь — молодая сестра и старая няня.

Я вся извелась. Мы ждали его и не знали, что в это время...

Напишу все по порядку.

Между нашими больницами на полпути дорога проходит через лес. А в лесу река, берега и русло которой нафаршированы огромными камнями. Река зимой замерзает, и после заносов о ее существовании можно догадаться по этим камням. Подъезжая к реке, Борис не видел дороги из-за пурги. Сани застряли недалеко от того места, где обычно проезжают машины и телеги. Борис слез и стал толкать сани, упершись ногой в большой камень. В тот миг, когда сани сдвинулись с места, камень упал и раздавил ему ступню. Размозженная, она

оказалась между двумя камнями, словно в гигантских тисках. Каждое движение вызывало адскую боль. Боясь, что может потерять сознание от шока, он охотничьим ножом порезал брюки. Подобно хлорамину, мороз действовал на обнаженную ногу как обезболивающее. Это и спасло его от шока. Борис видел, что ногу ему не вытащить и что при таком морозе не выдержишь долго. Он решился на невероятное, используя снег как новокаин.

До сих пор не представляю, как он это сделал. На следующий день отец спасенного Борисом ребенка привез из леса ступню в туфле и охотничий нож. Когда Борис лежал у меня, к нему пришли два корреспондента, но он запретил писать об этом, даже страшал судом.

— У меня не было выхода, — говорил он, — я попал в капкан, как беспомощный зверь. А зверь, как известно, в таких случаях отгрызает лапу. И потом я сам виноват: не надо было в такую погоду выезжать одному. Я пожалел кучера, не хотел его тревожить, а он, я слышал, из-за меня запил, места себе не находит.

Пожилой корреспондент рассказал, что в двадцатых годах во Франции во время каких-то боев упал самолет. Летчик (он был русским) не мог вытащить ногу, зажатую в хаосе изуродованных металлических деталей. Самолет горел, и с минуты на минуту мог взорваться. Пламя обхватило уже ногу. Тогда летчик отрезал ее, вылез из самолета и, когда отполз на несколько метров, раздался взрыв.

Боря сказал, что читал об этом летчике в «Огоньке». Читал и восхищался, но все же о себе писать запрещает. Так корреспонденты ушли ни с чем. Правда, через некоторое время вышла небольшая заметка.

Но я Вам не написала самого главного. Отрезав ногу, Борис дополз до саней и туго перевязал нижнюю треть голени жгутом.

Услышав звон колокольчика, сестра выбежала на улицу. Мне стало легче. Успокоилась и больная. Я с мытыми руками, уже готовая ассистировать, стояла у операционного стола. Вдруг Светлана (так зовут сестру) громко позвала меня. Я даже не сразу узнала ее голос. Она кричала. Чтобы не испачкать руки, я ногой открыла дверь в перевязочную, которая одновременно служит предоперационной. Сначала не поняла, в чем дело. Борис уже был в халате и, сидя на стуле, мыл руки. На полу лужа крови. Светлана, всхлипывая, резала ножницами лохмотья брючины. Я ничего не понимала.

— Ничего страшного, — сказал он, — всего полчаса прошло, как я наложил жгут. У нас еще в запасе полтора часа по всем правилам академической медицины.

Оперировал он сидя. Я ассистировала. Светлана поддерживала Бориса сзади, чтобы он не упал. Оперировал быстро, ловко, красиво. Я не успевала подавать инструменты. Иногда казалось, что я вот-вот потеряю сознание и упаду. Операция закончилась благополучно. Извлекли живого мальчика. Мать тут же назвала Борисом. Потом на стол положили самого Бориса, уже большого.

Ни руки, ни мысли мне не подчинялись. В каком-то забытьи я делала все под диктовку Бориса, начиная от обработки раны и кончая последним швом. Я оперировала его ногу, а он меня успокаивал. Говорил, что все симптомы, которые я ему передавала по телефону, точно соответствовали предполагаемому диагнозу. Что я была права насчет операции. Вот почему он, еще не повидав меня и больную, стал мыть руки. Он верил, что я все сделала правильно. Когда был наложен последний шов, он приподнялся на локти, прищурился, надел очки и стал присматриваться. Я не выдержала и заплакала. Светлана отвернулась. Ее выдавали плечи, которые время от времени дергались.

Борис посмотрел мне в глаза, потом на Светлану, улыбнулся и сказал:

— Глупышки... Что ж вы нюни распустили? А ты молодец. Будешь хирургом. Пальцы у тебя красивые.

Борис лежал у меня недели три. Потом его перевели в центр. Этот случай, если его можно назвать просто случаем, перевернул во мне все. Я проклинала себя. Проклинала свое пустое времяпровождение в институте. Проклинала тот день, когда решила стать врачом. В институте я не была настырной, как некоторые, напротив, их недолюбливала. На лекциях читала книжки, ни в какие научные кружки не записывалась. А экзамены сдавала либо авральной зубрежкой, либо шпаргалкой, либо чудом.

Случай с Борисом словно открыл мне новый институт. Я читала все, устраивала сама себе экзамены, следила за периодикой. И через полгода уехала на специализацию. Если бы знали, какой я себе создала спартанский режим. Днем училась, ночью дежурила, и так почти все сутки. Работала, а сама каждый день мечтала о встрече с Борисом. Знаю, я в некотором роде виновата, что так случилось. Но я о нем думала, мечтала о

встрече не потому, что хотела оправдаться или сгладить вину. Я его любила и знала, что это очень серьезно. Любила и потому так сильно хотела встречи.

За все это время мы виделись всего несколько раз. Он запрещает мне ездить к нему. Живем почти рядом, а переписываемся, как школьники, то по почте, то записки передаем через знакомых. Это жестоко. Борис меня всю перевернул, снял с меня розовые очки, если хотите, стал моим кумиром, я его любила, а он мои чувства к нему считает жалостью. Я знаю, что и он любит меня, иначе бы я Вам не писала. Любит. Как бы ни старался скрывать, я знаю, любит. Хромоту можно скрыть, но любовь — нет. Для женщины одного письма достаточно, чтобы узнать очень многое или даже все. Да и не в этом дело.

Борис много говорил о Вас. И я знаю, Вы можете помочь. Нужна какая-то встряска. Нужен, наверное, серьезный разговор.

Письмо это я пошлю сейчас же, иначе, боюсь, завтра не отправлю, разорву. Приезжайте, так больше продолжаться не может. Нужен мужской разговор...»

Мужской разговор... Это, наверное, очень трудно сейчас. Я Белозерова знал версификатором, а он оказался поэтом.